

ДМИТРИЙ
МИРОПОЛЬСКИЙ

ДМИТРИЙ
МИРОПОЛЬСКИЙ



1916

ВОЙНА И МИР



Издательство АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М64

Дизайн обложки — *Анастасия Орлова*

Разработка макета — *Ирина Гришина*

Любое использование материала данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается.

Серия «Петербургский Дюма»

Мирополюский, Дмитрий Владимирович.
М64 1916. Война и Мир : [роман] / Дмитрий Мирополюский. — Москва :
Издательство АСТ, 2018. — 480 с. — (Петербургский Дюма).

ISBN 978-5-17-108058-7

Невероятно жаркое лето 1912 года.

Начинающий поэт Владимир Маяковский впервые приезжает в Петербург и окунается в жизнь богемы. Столичное общество строит козни против сибирского крестьянина Григория Распутина, которого приблизил к себе император Николай Второй. Европейские разведки плетут интриги и готовятся к большой войне, близость которой понимают немногие. Светская публика увлеченно наблюдает за первым выступлением спортсменов сборной России на Олимпийских играх. Адольф Гитлер пишет картины, Владимир Ульянов — стихи...

Небывало холодная зима 1916 года.

Разгар мировой бойни. Пролиты реки крови, рушатся огромные империи. Владимира Маяковского призывают в армию. Его судьба причудливо переплетается с судьбами великого князя Дмитрия Павловича, князя Феликса Юсупова, думского депутата Владимира Пуришкевича и других участников убийства Распутина.

**УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

ISBN 978-5-17-108058-7

© Д.В. Мирополюский, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018

Я — поэт. Этим и интересен.
Владимир Маяковский

Посмотрите кругом — сколько неправды есть!
Григорий Распутин

Историю побеждённых пишут победители.
Уинстон Черчилль



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Истекающая кровью Европа надеялась. В Лондоне и Берлине, в Париже и Вене по календарю римского папы Григория настал уже тысяча девятьсот семнадцатый год, который сулил скорый конец мировой войны.

Петроград отставал от прочих европейских столиц на две недели. Россия жила по календарю другого римлянина — Юлия Цезаря. И здесь продолжался ещё декабрь года шестнадцатого. Лютый декабрь, студёный...

Свою фамилию — Перебейнос — этот немолодой жандармский офицер будто получил в подарок от Гоголя. Сейчас он притулился за ободренным канцелярским столом в полицейском участке, не расстёгивая шинели и не разматывая башлыка. В углу гудела рифлёными боками печь, и кто-то сердобольный заново набивал топку поленьями.

Сочились каплями сосульки на усах и стриженной бороде; оттаивали погоны, обмёрзший эфес шашки-селёдки... Перебейнос неуверенно держал стакан с горячим чаем обеими руками. Они застыли настолько, что почти не чувствовали обжигающего металла подстаканника. Попытка пошевелить пальцами ног в валенках тоже не порадовала: икры напряглись, дрогнули лодыжки, но дальше... Худо дело.

В ночь на семнадцатое декабря Перебейнос сдал дежурство и уже собирался отправиться домой. Тут-то всё и завертелось. Который теперь пошёл день — второй, третий? На улице стояла обычная зимняя питерская дрянь: не поймёшь, утро или вечер. Перебейнос кемарил понемногу в участке, сидя на стуле и привалившись к стене. Время от времени приходила весть: нашли, мол! И это значило, что надо снова выбираться из натопленной комнаты и в открытом возке плестись в очередной адрес, тщётно укрываясь от пронизывающего ледяного ветра.

Слабо утешало то, что незавидную участь Перебейноса нынче разделяли многие. Приказано было обшарить все помойки и свалки, обойти все тупики и закоулки — и самым тщательным образом осмотреть все до единой реки, речки и каналы столицы, намертво скованные ледяным панцирем. Поначалу

Перебейнос мотался вместе с подчинёнными: в случае чего ему надлежало оказаться на месте и командовать. Но долго в таком режиме не протянешь. Когда поиски пошли по очередному кругу, он стал хотя бы на время прятаться в участке... Чёрт возьми, почему у него нет фляжки?!

Перебейнос поставил стакан с чаем на стол. Бесполезно звякнула ложечка. В уплывающем сознании бубнил монотонный голос: надо обязательно сказать жене, чтобы купила фляжку. Даже не фляжку — флягу! Плоскую металлическую флягу с винтовой крышкой. И чтобы в эту флягу входила целая бутылка коньяку. Какого угодно, пускай паршивого, но коньяку. Он станет всегда держать её наполненной — под мундиром, на груди... Нет, лучше на животе, на животе теплее. В самый лютый мороз можно сунуть руку за пазуху, вытащить флягу и сделать долгий-долгий глоток. Нагретый коньяк вышибет слезу, перехватит горло, провалится и хлынет вниз, внутрь; а там взорвётся горячей бомбой и окутает блаженным теплом. И тогда окоченевший Перебейнос начнёт возвращаться к жизни, вытянет поудобнее ноги, расстегнёт прокисшую шинель, размотает башлык, скинет шапку с лысеющей жидковолосой головы — и будет спать, спать, спать...

— Ваше благородие, нашли! Ваше благородие...

Перебейнос разлепил неподъёмные веки. Такой же, как он, закутанный и замёрзший человек, расплываясь, качался перед ним и продолжал повторять:

— Нашли, ваше благородие...

Перебейнос поморгал, энергично потёр уши и начал постепенно приходить в себя.

— Точно нашли, или опять?..

— Точно, ваше благородие! Вроде, нашли...

— Дурак ты, братец.

Нос у посыльного был мертвенно-сизым. В памяти офицера с гоголевской фамилией всплыли «Мёртвые души», читанные давным-давно, в прошлой жизни. Что-то про Фемистоклюса Манилова и препорядочную постороннюю каплю на носу, которая норовила кануть в суп.

Перебейнос тяжело поднялся, опираясь на стол:

— Ладно, едем!

Служебного возка на месте не оказалось. *Шкуру спуцу*, подумал Перебейнос, и они с посыльным отправились пешком со Съезжинской к Большому проспекту ловить извозчика.

Сани с огромным ватным «ванькой» на козлах махнули чуть не через всю Петроградскую сторону и вынесли с Большого на Каменноостровский проспект. Офицер проводил взглядом проплывшую по левую руку заиндевелую бетонную махину «Спортинг-паласа».

Они проехали богатый доходный дом, принадлежавший бухарскому эмиру Сеид-Мир-Алим-хану, и много более скромный домик знаменитого скульптора Опекушина...

Миновали окружённую деревьями, похожую на аккуратный слоёный торт оранжерею Игеля — и знаменитый «колосс» архитектора Щуко, украшенный эркерами и помпезной лепкой...

Оставили позади богадельню купцов первой гильдии Садовникова и Герасимова с церковью во имя святого мученика Фирса и преподобного Саввы Псковского...

— Как-то мы странно едем, — недовольно пробурчал Перебейнос.

Возница и посыльный молчали, а возок проскрипел по мосту через Малую Невку с Аптекарского острова на Каменный — и заскользил по аллеям мимо фешенебельных особняков. Через несколько минут под полозьями пропело стылое дерево моста через небольшую речку Крестовку, на Крестовский остров. Дальше сани скользнули прямым, как стрела, Крестовским проспектом, резко свернули влево, вдоль совсем уже узенькой речушки Чухонки, и остановились перед Большим Петровским мостом — длинной, широкой деревянной переправой через Малую Невку на Петровский остров.

— Покататься решил, скотина? — спросил возницу Перебейнос, выбираясь из саней.

Добраться сюда от Съезжинской можно в два счёта: повернуть на Большом проспекте не направо, а налево; проехать вдоль реки Ждановки, свернуть через мостик на Петровский остров; дальше мимо пивоварен «Бавария» и канатной фабрики по Петровскому проспекту, там против пожарной части направо — и вот, пожалуйста, Малая Невка и нужный мост. Выходило много ближе — от силы версты полторы, — быстрее и дешевле, само собой. Знал бы Перебейнос, что они станут так плутать — взял бы финскую *вейку*, сани лёгкие с бубенцами. К зиме в город съезжались финны из окрестных деревень, которые сбивали цены извозчикам: в любой конец города тридцать копеек, и вся недолга.

— Напрямую-то боязно, ваше благородие, — тянул обозванный «ванька». — На Ждановке-то в казармах солдатики пошаливают. Лучше уж крючок исделать. Вашему-то благородию, может, и ничего, а мы — люди простые, нас завсегда кто хошь обидеть может...

Перебейнос простого человека обижать не стал, плюнул и заплатил. Солдаты и вправду нынче пошаливали; в Петрограде дожидались отправки на фронт, почитай, тысяч двести мобилизованных. Непокорно было по всему городу, не только на Ждановке.

У Большого Петровского моста уже толпились зеваки — немного, и всё же Перебейнос подивился. Жилья поблизости, можно сказать, нет. Интересно, откуда они всегда берутся? Как ухитряются заранее узнать, куда идти глазеть? И что заставляет их часами торчать на морозе? С какой радостью сам он, да и любой из его подчинённых поменялся бы с ними местами! Поменялся, и тут же — бегом домой, не чуя ног. А зеваки стоят, переминаются. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было...

— На мост и на реку никого не пускать, — привычно бросил Перебейнос одному из своих унтеров. Придерживая шашку, он спустился, почти съехал отлогим берегом на лёд и зашагал туда, где маячили караульные.

Как и большинство столичных жителей, раньше Перебейнос часто ездил в этот ближний пригород, на Острова. Особенно летом. На Петровском острове хорошо было сидеть с удочкой где-нибудь за керосиновыми складами и разглядывать проходящие мимо яхты. На Елагином и Каменном — гулять с детьми, на Крестовском — стрелять в тире, любоваться на соревнования по лаун-теннису или следить, как гоняют мяч футболисты лучших питерских команд — «Спорт» и «Унитас». Они играли и друг с другом, и с англичанами, служащими на Сампсониевской ниточной мануфактуре. И с финнами играли, и с немцами, с которыми теперь идёт война...

Перебейнос поскользнулся, но удержался на ногах. Какой толстый лёд! Толстенный. Такой даже возы с дровами выдерживает. Поперёк Невы, вон, трамвай пустили по замороженным прямо в лёд рельсам — ничего, не хрустит... Что же там увидели ребяташки?

Двое городских стояли в сотне шагов от моста и едва смогли откозырять подошедшему офицеру. Замёрзли. *Видать, у них тоже нет фляжек с коньяком*, сам себе пошутил Перебейнос и улыбнулся. Вернее, попытался улыбнуться, но на морозе у него лишь странно дрогнула кожа на скулах.

— Здесь? — спросил он.

— Здесь, ваше благородие, — просипел один, дохнув паром.

То ли днями кому-то в особняках понадобилось обновить ледник — стужа, не стужа... То ли приезжали сюда водовозы... По себе они оставили полынью — майну. Её, конечно, снова затянуло льдом, но сквозь него ещё можно было разглядеть что-то примёрзшее снизу, из чёрной воды.

— Та-ак, — грозно протянул Перебейнос. — Нашли, значит? А раньше куда смотрели, остолопы? Сколько раз уже здесь ходили!

Проштрафившиеся, еле живые от холода и усталости, угрюмо потоптались. Тот, что побойчее, с номером 1876 на бляхе, подал голос:

— Так мы это... Я вон там об лёд запнулся. Гляжу — во льду галоша. Хорошая такая галоша, новая совсем. И майна рядом. Вот мы и смекнули по течению малёхо пошукать...

— Слеподырки, мать вас всех, — сквозь зубы процедил Перебейнос. — Ладно, теперь-то чего ждём? Раньше начали — раньше закончили! Сами себя задерживаем! Ну, живо, живо!

Его люди уже добыли на берегу топоры и пешни со стальными наконечниками, приволокли досок... Все зашевелились, пытаясь согреться хотя бы работой.

Пока они обкалывали лёд и расчищали майну, Перебейнос ждал рядом, растирая руки и ударяя валенком о валенок. В голове крутилась прежняя мысль — о фляге с нагретым на животе коньяком — и ещё одна, которую

он старался прогнать подальше. Лучше бы находка оказалась ошибкой, чем угодно, только не тем, что они действительно искали с утра семнадцатого декабря...

...а она оказалась именно тем самым.

На лёд, наконец, выволокли окоченевшее тело.

— Рукавом примёрз, — деловито сообщил один из городовых. — Здесь течение сильное, в залив утащило бы — сто лет не найти. А там корюшка съест, она всегда мертвякам лица гложет...

— А ну тихо мне! — прикрикнул Перебейнос. — И нечего глазеть.

Сам он обречённо разглядывал утопленника, завёрнутого в плотную синюю штору и связанного верёвками по рукам и ногам. Впрочем, связанного не слишком крепко: штора сползла, и руки освободились от пут. Правое запястье обнимал массивный золотой браслет с застёжкой, украшенной императорским вензелем. Сейчас могло показаться, что мертвец боком ползёт по льду и тянется к кому-то скрюченными последней судорогой пальцами.

Утопленник быстро покрывался ледяной коркой. Среднего роста мужчина лет пятидесяти, ширококостный, но щуплый. На плечах — добротная бобровая шуба. Нарядно расшитая колосьями васильковая шёлковая рубаша задралась, под ней — ещё одна, исподняя, в пятнах почерневшей крови из порванного выстрелом живота. Чёрные бархатные штаны заправлены в высокие шевровые сапоги; на левый криво насажена фетровая га-лоша.

Кровь пропитала всклокоченные пегие волосы на разможжённом затылке, склеила лохматую длинную бороду и усы, залила лицо и рот, оскаленный в дикой ухмылке. Посередине лба зияло входное отверстие от пули, обмётанное пороховой гарью, — *штанц-марка*, верный признак выстрела в упор. Правая скула превратилась в сплошное месиво, глаз вывалился из орбиты, ухо разорвано, и всё же не узнать покойника было нельзя.

— Господи, за что же это... мне? — прошептал Перебейнос.

Он лихорадочно перебирал в уме события и обрывки слухов последних дней, начиная с семнадцатого декабря, и в одно мгновение успел вспомнить...

...о государе императоре, который сейчас так далеко отсюда — на войне, в белорусском Могилёве, в Ставке Верховного главнокомандующего...

...о государыне императрице, что в яростной истерике сыплет незаконными приказами из Александровского дворца в Царском Селе...

...о кузене и любимце государя, великом князе Дмитрие Павловиче, по приказу государыни заключённом под домашний арест...

...об аресте молодого князя Феликса Юсупова и стрельбе в его дворце на набережной Мойки...

...о шальном автомобиле из императорского гаража, метавшемся через Острова в ночь на семнадцатое...



...о болтовне депутата Государственной думы, националиста и паяца Пуришкевича, про немецких шпионов и спасение России...

...и о себе, простом служаке с забавной, будто вычитанной у классика малоросской фамилией Перебейнос, для которого эта страшная находка может обернуться по-разному: или наградой — или так, что лучше даже не думать.

Потому что перед ним в окровавленной вышитой рубахе, в сапогах с одной галошей и с дыркой во лбу обмерзал труп того, о ком за последние четыре года не судачил только ленивый.

Возле полыньи на Малой Невке распласталось изувеченное и простреленное тело человека, которого без сна и отдыха третий день искали по всем закоулкам Петрограда, во всех столичных реках и каналах.

На льду связанным лежал мёртвый персонаж бульварных газет, на все лады склонявших его прозвище — *святой чёрт*.

Станный сибирский мужик, загадочный любимец государевой семьи. Григорий Распутин.





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



МИР





ГЛАВА I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. УТРО

В том, что могучая сборная Германии скорее всего *раскатает* российских футболистов, сомневались немногие, но чтобы шестнадцать-ноль?!

Маяковский разложил газету на столике и уткнулся в спортивную колонку.

Главный недостаток нашей сборной команды — её полная несыгранность... Здесь совершенно запрещены наши толчки. Голькипера вовсе нельзя толкать. У нас же постоянно стараются свалить голькипера, — и получается дикая игра. Запрещение толкать игроков поднимает технику игроков. Сравнение игры русских команд с заграничными, к сожалению, показывает, что мы — ещё дети в футболе, но... уже грубые дети...

Керамическая плошка прижимала край газеты, которую шевелил налетавший с Невы ветерок. Маяковский, не глядя, выудил из плошки горсть жареных орехов и кинул их в рот. Хорошо было бы чем-нибудь запить, но в карманах — шаром покати, и даже папиросы кончились. Поэтому надо сидеть и ждать Бурлюка, у которого есть деньги. Тот с самого раннего утра бегаёт по каким-то своим делам...

Летом двенадцатого года в Петербурге установилась необычайная жара. Короткие белые ночи не приносили желанной прохлады. А поутру лучи беспощадного солнца вновь раскаляли не успевшие остынуть мостовые, и огромный каменный город, который прихоть властей выкрасили в красноватые и багровые тона, превращался в плавильную печь, пышущую вязким обжигающим зноем. Искать спасения оставалось в тени парков — или по берегам рек и каналов, рассекающих город на десятки островов и принесших российской столице славу Северной Венеции.

Маяковский облюбовал столик в открытом кафе прямо на гранитном спуске к Неве, против Адмиралтейства. Неподалёку изнурённые зноем ра-

бочие разбирали одряхлевший деревянный Дворцовый мост. Наконец-то в казне нашлись деньги, чтобы связать каменные набережные Адмиралтейской части и Васильевского острова современным разводным красавцем — вместо оскорбительной для взгляда щетины старых брёвен, торчащих во все стороны.

Коротая время ожидания, Маяковский листал заметки репортёров с Пятой Олимпиады в Стокгольме, которые смаковали провал российских футболистов.

Разгром полный, небывалый! Отчего же не получить поражение, отчего не уступить более сильному и готовому противнику... Но сыграть 16:0 в одном матче, как сыграли наши олимпийцы с Германией, — это даже не значит поехать учиться, чтобы учиться, лучше было посмотреть с трибуны зрителей — это просто небрежность — неизвинительная, непростительная небрежность.

Франция, поставленная в неблагоприятные для неё условия, отказалась совсем от игры на Олимпийских играх, — мы же не только блеснули своим убожеством, но и торжественно в нём расписались...

На газетные строчки упала тень, и раскатистый бас произнёс:

— Владимир Владимирович, вы газетку не подвинете?

Маяковский оторвался от чтения, поднял голову и сощурился от нестерпимо яркого света.

Высокий, плечистый Давид Бурлюк, подойдя против солнца, навис над столиком и поставил на него сразу шесть пузатых кружек с пивом. Их ручки, нанизанные на толстые пальцы, никак не хотели отцепляться. Шапки густой пены колыхнулись, и по стеклу, оставляя сияющий след, сбежали янтарные ручейки.

Маяковский отёрнул газету, а Бурлюк тяжело опустился на стул напротив, взял кружку и в несколько жадных глотков отпил больше половины.

— Ох, хорошо, — выдохнул он. — Что пишут?

— Наши продули немцам ноль-шестнадцать!

— Во что играли? — вежливо осведомился Бурлюк. — Вы не стесняйтесь, Владим Владимыч, пейте пиво, пока холодное...

Он залпом прикончил кружку и потянулся за следующей.

Маяковский возмутился:

— Поразительное безразличие... В футбол играли, в футбол! Мы же первый раз на олимпиаде, в клочья надо было всех рвать, а эти... Вот уж точно — убожество... Трудно, что ли, найти в целой стране одиннадцать человек, которые могут нормально мячик пинать?!

— Думаю, по такой жаре охотников на ваш футбол найдётся немного...

Ветерок с Невы не освежал, а лишь лохматил кудри Давида и ронял длинный чуб на глаза Володи. День только начался, но солнце уже палило немилосердно и доставляло грузному Бурлюку страдания, пожар которых он пытался залить пивом.

Маяковский пил оригинально. Он взял кружку левой рукой и прильнул к ней губами возле ручки. Володя был брезглив и полагал любые кружки вымытыми недостаточно тщательно. Однако считал, что изобретённый им способ позволяет не касаться тех мест, которых раньше касались другие.

— Охотников — больше чем достаточно! — категорично заявил он. — Сборные Москвы и Петербурга, вон, чуть не передрались, кому в Швецию ехать. Киевляне тоже хотели... И жара тут ни при чём! Объясните мне, почему, например, борцы могут, а футболисты нет? Слыхали про Клейна?

Не отрываясь от напитка, Бурлюк пожал могучими плечами.

— Вы только представьте, Давид Давидыч! Турнир по греко-римской борьбе, полуфинал. Сорок два градуса в тени, тёмный ковер...

— Всё, я уже умер, — вставил Бурлюк, опорожнивший вторую кружку.

— ...и на ковре — двое, — продолжал Маяковский. — Наш — Мартин Клейн, из Эстонии, а против него — финн Асикайнен. Трёхкратный чемпион мира, между прочим!

— Между прочим, финны тоже наши, — заметил Бурлюк. — Великое княжество Финляндское, сколько я помню, входит в состав Российской империи...

— Они и выступают под нашим флагом, — нетерпеливо махнул рукой Маяковский, — только Олимпийский комитет у них свой... Так вот, Клейн боролся с Асикайненом десять часов!

Бурлюк посмотрел недоверчиво.

— Сколько?!

— Ну, почти десять. Девять часов сорок минут с двумя короткими перерывами.

— Ага, я прямо это вижу, — подхватил Давид и заговорил, удачно имитируя прибалтийский акцент и неторопливую манеру речи: — Красавец-эстонец и симпатяга-финн, блестя рельефной мускулатурой, медленно-медленно сходятся посреди тёмного ковра под щедрым скандинавским солнцем и до самого вечера медленно-медленно борют друг друга...

Иронии и актёрства Маяковский не оценил.

— Клейн — герой, — сердито буркнул он, бросил в рот горсть орешков и отхлебнул ещё пива. — Он бы и Юханссона в финале победил. Только Олимпиада где? В Швеции. А Юханссон — швед. Сговорились там, кто надо, и судьи потребовали, чтобы финал состоялся немедленно. Клейн был еле живой и отказался, конечно, вот и получил только серебряную медаль. Хотя она золотой стоит!

— М-да... Нет правды на земле, но нет её и выше! Хотя это слабое утешение. Бросьте забивать себе голову всякой ерундой, Владим Владимыч.